

Лэндон Вудс



ПРОФЕССОР

18+

Лэндон Вудс
Профессор

«Автор»

2026

Вудс Л.

Профессор / Л. Вудс — «Автор», 2026

Он пришел в университет за верой, братством и смыслом. Вместо этого увидел профессора, который учит будущих богословов ненавидеть «сектантов». Когда Александр начинает проверять факты, против него запускается машина травли, страха и антикультовых экспертиз.

© Вудс Л., 2026

© Автор, 2026

Лэндон Вудс

Профессор

Настоящее издание является художественным произведением. Все имена, персонажи, события, организации, компании и иные элементы повествования являются результатом художественного вымысла. Любое сходство с реальными лицами, действующими или прекратившими деятельность организациями, компаниями, а также с реальными событиями и обстоятельствами носит исключительно случайный и непреднамеренный характер.

Глава 1. Точка отсчета

Шум Садового кольца никогда не стихает полностью. Даже сейчас, в три часа ночи, когда Москва должна бы погрузиться в тяжелый, беспокойный сон, за окном продолжается непрерывное движение. Шипение шин по мокрому асфальту, редкие гудки, вой сирен скорой помощи где-то вдалеке. Я стою у холодного стекла, прижавшись к нему лбом, и смотрю на желтые пятна фонарей, размазанные по черному холсту ноябрьской ночи. Город живет. Ему абсолютно плевать, что внутри этой квартиры на девятом этаже время остановилось навсегда.

Прошло ровно сто четырнадцать дней с того момента, как моя жизнь разделилась на две неравные части. «До» — это светлая, понятная реальность, где у меня была семья, планы на будущее, уверенность в завтрашнем дне и четкий маршрут, проложенный на годы вперед. «После» — это вязкая, удушливая пустота, в которой я сейчас существую. Я не живу, я именно существую, выполняя базовые биологические функции: дышу, иногда сплю, изредка заставляю себя проглотить какую-то еду.

На моем письменном столе, покрываясь тонким слоем серой пыли, лежит картонная папка. Обычная канцелярская папка-скоросшиватель, внутри которой подшиты несколько десятков листов формата А4. Это материалы уголовного дела № 11901450008000234. Мой личный микро-кейс столкновения с реальностью, который навсегда отбил у меня желание иметь дело с юриспруденцией.

Я помню тот день в кабинете следователя до мельчайших деталей. Капитан юстиции Воронов, уставший человек с серым лицом и вьевшимся запахом дешевого табака, сидел напротив меня в тесном кабинете УВД по Северо-Западному округу. На стене криво висел портрет президента, на подоконнике засыхал какой-то цветок в пластиковом горшке. Воронов монотонно зачитывал строки из протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия от 12 августа.

«В 21 час 45 минут на 34-м километре федеральной трассы М-9 “Балтия” водитель автомобиля Land Rover, гражданин Смирнов И.А., 1999 года рождения, двигаясь со значительным превышением допустимой скорости, не справился с управлением в условиях мокрого дорожного покрытия. В результате заноса транспортное средство пересекло разделительную полосу, выехало на полосу встречного движения и совершило лобовое столкновение с автомобилем Volvo под управлением...»

Дальше шли имена моих родителей. Моего отца, который всегда водил предельно аккуратно, никогда не превышал скорость и свято верил в то, что правила дорожного движения написаны кровью, а значит, их соблюдение гарантирует безопасность. Моей матери, которая сидела на пассажирском сиденье и, наверное, даже не успела понять, что произошло, когда двухтонная черная глыба металла снесла их машину с трассы.

Я читал судебно-медицинские экспертизы. Сухие, стерильные тексты, разделяющая смерть самых близких мне людей на медицинские термины. «Множественные сочетанные травмы головы, туловища и конечностей», «разрыв внутренних органов», «смерть наступила мгновенно на месте происшествия». Я смотрел на эти буквы, отпечатанные на дешевом принтере, и пытался сопоставить их с тем фактом, что еще утром того дня мама жарила сырники

на нашей кухне и смеялась над тем, как отец пытался починить протекающий кран, а вечером они превратились в «потерпевших» в материалах уголовного дела.

Виновник аварии, девятнадцатилетний студент, которому богатый отец подарил внедорожник за успешную сдачу сессии, отделался сотрясением мозга и переломом ключицы. Подушки безопасности и масса автомобиля спасли ему жизнь. Воронов тогда посмотрел на меня поверх очков и сказал: «Дело мы передадим в суд. Статья 264, часть 5. Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Дадут ему года четыре колонии-поселения, учитывая, что ранее не судим и характеристики положительные. Через два выйдет по УДО. Вы крепитесь, парень. Закон есть закон».

Закон есть закон. Эта фраза эхом отдавалась в моей голове все последующие месяцы. Мои родители мечтали, чтобы я стал адвокатом. Отец часто говорил, что право — это единственный инструмент, который отличает цивилизованное общество от варварского. Он покупал мне книги, мы вместе разбирали исторические судебные процессы. Я готовился к поступлению на юридический факультет лучшего университета страны. Моя комната до сих пор завалена учебниками: «Теория государства и права», «Уголовный процесс», «Конституционное право РФ». На полях многих страниц остались мои пометки карандашом, выделенные маркером абзацы о справедливости, презумпции невиновности, соразмерности наказания.

Теперь эти книги вызывают у меня лишь глухое раздражение и тошноту. Какая к черту справедливость? Какой смысл в тысячах страниц законов, кодексов и комментариев к ним, если они не могут защитить хороших людей от пьяного или безрассудного идиота на встречной полосе? Право не возвращает мертвых. Оно лишь бюрократизирует смерть, раскладывает ее по папочкам, присваивает номера и назначает смехотворные компенсации. Четыре года колонии-поселения за две отнятые жизни. Это не правосудие. Это насмешка.

Я забросил подготовку и не открывал учебники с того самого августовского дня. Репетиторы звонили первые несколько недель, потом перестали. Школьные учителя, зная о моей трагедии, просто ставили мне тройки из жалости, чтобы я мог получить аттестат. Мне было все равно. Я нарушил волю родителей, предал их мечту, но у меня не осталось ни сил, ни веры, чтобы продолжать этот путь. Юриспруденция казалась мне теперь не щитом, защищающим невинных, а сложной, лицемерной игрой, в которой выигрывает тот, у кого крепче машина и дороже адвокат.

Я отохожу от окна и медленно бреду на кухню. Квартира огромная, четырехкомнатная, сталинской постройки. Раньше она казалась мне уютной, наполненной голосами, запахами кофе по утрам, звуками работающего телевизора в гостиной. Теперь это склеп. Я физически ощущаю, как тишина давит на барабанные перепонки. В прихожей до сих пор висит осеннее пальто отца. Внизу стоят мамины любимые замшевые сапоги. Я не могу заставить себя убрать их в шкаф. Мне кажется, что если я это сделаю, я окончательно сотру их следы в этом мире.

Открываю холодильник. На верхней полке стоят несколько пластиковых контейнеров. Вчера заезжал дядя Миша. Михаил Сергеевич Волков — лучший друг моего отца, они вместе учились в институте, потом вместе начинали бизнес в девяностых, пока отец не ушел в проектирование. Дядя Миша и его жена, тетя Лена, — единственные люди, которые остались у меня в этом городе. У меня нет ни бабушек, ни дедушек. Родители отца умерли давно, мамина родня осталась где-то на Дальнем Востоке, и связь с ними оборвалась еще в моем детстве.

Дядя Миша старается. Он действительно изо всех сил пытается вытащить меня из этой ямы. Он приезжает каждую неделю, привозит продукты, которые готовит тетя Лена: домашние котлеты, борщ, пюре. Он стоит в коридоре, неловко переминаясь с ноги на ногу, мнет в руках ключи от машины и смотрит на меня глазами, полными боли и бессилия.

— Саня, ты бы поел, — сказал он вчера, выставляя контейнеры на стол. — Лена специально для тебя готовила. Твои любимые, с чесноком.

— Спасибо, дядь Миш. Я поем, обязательно, — ответил я, глядя куда-то сквозь него.

— Как дела с учебой? Ты к экзаменам-то готовишься? Отец бы очень расстроился, если бы ты бросил. Ты же знаешь, как он хотел видеть тебя на юрфаке.

Я промолчал. Что я мог ему ответить? Сказать, что я ненавижу юрфак? Сказать, что каждый раз, когда я думаю об отце, я вижу не его улыбку, а строчки из протокола осмотра трупа? Дядя Миша хороший человек, но он не может понять. У него своя жизнь, которая несется вперед на огромной скорости. У них с тетей Леной трое детей: старшему, Илье, двенадцать, а младшим двойняшкам по пять лет. У него ипотека, проблемы с бизнесом, вечный недосып. Я вижу, как тяжело ему даются эти визиты ко мне. Он разрывается между чувством долга перед погибшим другом и необходимостью заботиться о собственной семье.

Я стал для них обузой. Тяжелым, депрессивным грузом, который они тащат из благородства. Я буквально физически ощущаю, как тетя Лена прячет глаза, когда мы изредка созваниваемся. Она не знает, о чем со мной говорить. Все обычные темы — погода, школа, планы на лето — кажутся кошунственными на фоне моей потери. А говорить о смерти мы не умеем. Поэтому наши разговоры сводятся к дежурным фразам: «Как ты?», «Держись», «Если что-то нужно — звони».

Я не звоню. Я вообще перестал пользоваться телефоном по прямому назначению. Мой смартфон превратился в кусок холодного стекла и пластика, который изредка вибрирует, напоминая о том, что где-то там, за стенами моей квартиры, продолжается чужая, непонятная мне жизнь.

Я достаю телефон из кармана домашних штанов. Экран загорается, высвечивая несколько уведомлений из Telegram. Чат «11-А Выпускной».

«Денис Савельев: Пацаны, кто скинется на подарок историчке? Она намекала на сертификат в парфюмерный». «Аня Смирнова: Давайте по 500 рублей. И надо решить, где будем отмечать после вручения аттестатов. В “Лофте” уже все даты забиты!» «Макс: Я пас, у меня репетитор по матану до ночи. Если не сдам профиль, батя меня убьет».

Я читаю эти сообщения, и мне кажется, что они написаны на каком-то древнем, мертвом языке, который я забыл. Выпускной. Подарки учителям. Страх перед экзаменами. Еще полгода назад я был частью этого мира. Я тоже спорил о том, где лучше бронировать ресторан, тоже переживал из-за пробников по обществознанию, тоже боялся не набрать проходной балл.

Сейчас все это кажется мне настолько мелким, настолько ничтожным, что вызывает лишь горькую усмешку. Они боятся, что родители их «убьют» за плохую оценку. Они не знают, что такое настоящая смерть. Они не стояли в гулком, пропахшем формалином коридоре морга, ожидая, пока санитар вынесет свидетельства о смерти. Они не выбирали гробы. Они не смотрели, как комья сырой земли падают на полированное дерево, навсегда скрывая под собой тех, кто дал тебе жизнь.

Мои сверстники живут в иллюзии бессмертия и безопасности. Они верят, что если хорошо учиться, слушаться старших и соблюдать правила, то все будет хорошо. Я тоже в это верил. До 12 августа. Теперь я знаю правду: мир — это хаос. Слепой, безжалостный, абсолютно равнодушный хаос, в котором нет никакой логики, никакой высшей справедливости. Твоя жизнь может оборваться в любую секунду просто потому, что какой-то сопляк на встречной полосе решил нажать на педаль газа чуть сильнее.

Я блокирую экран телефона и бросаю его на кухонный стол. Звук удара пластика о дерево кажется оглушительным в мертвой тишине квартиры.

Я пробовал выходить на улицу, пробовал общаться. Пару недель назад я столкнулся в супермаркете с Игорем, моим бывшим лучшим другом. Мы дружили с пятого класса, вместе играли в приставку, вместе ходили на секцию самбо. Когда родители погибли, он пришел на похороны, стоял бледный, испуганный. Потом звонил пару раз, звал погулять. Я отказывался.

В супермаркете мы столкнулись у стеллажа с хлебом. Он неловко переложил корзинку из одной руки в другую.

— О, Саня. Привет.

— Привет.

— Как ты вообще? Держишься?

— Нормально.

— Слушай, мы тут на выходных собираемся у Влада на даче. Предки уехали. Шашлыки, пиво, девчонки будут. Погнали с нами? Тебе надо развеяться, чувак. Нельзя же вечно дома сидеть. Время лечит, братан.

«Время лечит». Самая лживая фраза, которую придумало человечество, чтобы оправдать свое бессилие перед чужим горем. Время ничего не лечит. Оно просто покрывает рану грязной коркой, под которой продолжает гнить мясо. Я смотрел на Игоря, на его модную стрижку, на его новые кроссовки, и понимал, что между нами пролегла пропасть, которую невозможно преодолеть. Он стоял на светлом берегу, где главной проблемой было купить пиво без паспорта. Я находился на дне темного ущелья, где не было ничего, кроме холода и памяти.

— Я не смогу, Игорь. Дел много, — сухо ответил я, развернулся и ушел, оставив его стоять с открытым ртом. Больше он мне не звонил. И я был ему за это благодарен.

Я выхожу из кухни и иду по длинному коридору. Паркет скрипит под ногами. Я знаю каждый скрип в этой квартире. Вот здесь, возле ванной, половица всегда издает звук, похожий на тихий стон. А здесь, у двери в спальню родителей, паркет лежит плотно, беззвучно.

Дверь в их спальню приоткрыта. Я толкаю ее рукой и замираю на пороге. В комнате темно, только свет от уличного фонаря пробивается сквозь щель в шторах, выхватывая из мрака угол широкой двуспальной кровати. Покрывало идеально заправлено. На прикроватной тумбочке со стороны мамы до сих пор лежит недочитанная книга — какой-то детектив в мягкой обложке. Закладка торчит на середине. Она читала ее перед сном 11 августа.

Я делаю шаг внутрь. Воздух здесь кажется более плотным, спертым. Если закрыть глаза и глубоко вдохнуть, можно уловить едва заметный, исчезающий аромат маминых духов — что-то цветочное, с нотками жасмина. И легкий запах отцовского одеколона. Эти запахи — призраки. Они тают с каждым днем, выветриваются, исчезают, как исчезает память о людях. Я панически боюсь того дня, когда зайду сюда и не почувствую ничего, кроме запаха пыли и старой мебели.

Я подхожу к тумбочке отца. Там лежат его наручные часы. Механические, с автоподзаводом. Они остановились через два дня после аварии, когда пружина окончательно раскрутилась. Я беру их в руки. Металл холодный, тяжелый. Я провожу большим пальцем по циферблату. Стрелки замерли на отметке 10:14. Время, когда остановилось сердце механизма.

Я кладу часы обратно и сажусь на край кровати. Батареи центрального отопления шпарят на полную мощность, в квартире должно быть тепло, но меня бьет мелкая, непрекращающаяся дрожь. Этот холод идет не снаружи. Он рождается где-то внутри, в районе солнечного сплетения, и растекается по венам, замораживая кровь. Это холод абсолютного, тотального одиночества.

Я обхватываю голову руками и смотрю в пол. В голове пустота. Ни мыслей, ни слез. Слезы закончились еще в первый месяц. Я выплакал их все, когда выл в подушку по ночам, кусая собственные руки, чтобы не кричать в голос и не пугать соседей. Сейчас осталась только сухая, выжженная пустыня.

Что мне делать дальше? Этот вопрос пульсирует в висках, но не находит ответа. Поступить в университет? Зачем? Чтобы сидеть на лекциях среди людей, которые мне чужды, и слушать о законах, которые не работают? Найти работу? Какую? Курьером? Официантом? Чтобы заработать деньги на еду, которая не имеет вкуса?

У меня есть счет в банке — страховка и сбережения родителей. Дядя Миша помог все оформить. Этих денег хватит на несколько лет скромной жизни, даже если я не буду ничего делать. Я могу просто сидеть в этой квартире, смотреть в стену и медленно сходить с ума.

Я поднимаю голову и смотрю в зеркало дверцы шкафа. В полумраке я вижу силуэт человека. Ссутулившиеся плечи, впалые щеки, темные круги под глазами. Мне восемнадцать лет, но я чувствую себя стариком, который прожил долгую, бессмысленную жизнь и теперь просто ждет конца.

Я встаю с кровати и выхожу в центр гостиной. Самая большая комната в квартире. Здесь мы ставили елку на Новый год. Здесь отец учил меня играть в шахматы. Здесь мама накрывала большой стол, когда приходили гости. Сейчас здесь только тени.

Я стою посреди комнаты, окруженный вещами, которые потеряли свой смысл. Книжки, которые никто не будет читать. Посуда, из которой никто не будет есть. Телевизор, который никто не включит. Я — единственный живой элемент в этом музее мертвых вещей, но я чувствую себя таким же неживым, как этот диван или этот шкаф.

Я смотрю на входную дверь. Там, за ней, огромный город. Миллионы людей, которые куда-то спешат, кого-то любят, о чем-то мечтают. Они строят планы, рожают детей, пишут законы, верят в будущее. А я стою здесь, в пустой, холодной квартире, и понимаю с кристальной, пугающей ясностью: мне некуда идти. Мой маршрут стерт. Моя карта сгорела. Я уперся в глухую бетонную стену, и в этой стене нет ни одной двери.

Абсолютный, беспросветный тупик. И тишина, в которой слышно только, как за окном, по мокрому асфальту Садового кольца, продолжают шуршать шины чужих автомобилей, увозящих чужие жизни в недоступное мне завтра.

Глава 2. Случайный приют

Холодный ноябрьский ветер пронизывал до костей, забираясь под воротник куртки и заставляя инстинктивно вжимать голову в плечи. Я шел по улицам Москвы без какой-либо конкретной цели, просто переставляя ноги по мокрому, покрытому тонкой коркой льда асфальту. Город вокруг меня пульсировал своей обычной, агрессивной жизнью. Мимо проносились автомобили, обдавая тротуары грязными брызгами, витрины дорогих бутиков слепили неоновым светом, а из открытых дверей кофеен вырывались обрывки смеха и запахи ванили.

Люди спешили по своим делам. Они прятали лица в теплые шарфы, говорили по телефонам, несли пакеты с покупками, спускались в гудящее нутро метрополитена. Вся эта гигантская человеческая масса была объединена тысячами невидимых нитей: планами на вечер, рабочими графиками, семейными ужинами, предстоящими праздниками. Я же чувствовал себя абсолютно чужеродным элементом в этом потоке. Призраком, который по какой-то нелепой случайности обрел плоть, но потерял всякий смысл своего существования. Светский мир с его культом успеха, бесконечным потреблением и суетой казался мне теперь не просто чужим, а пугающе равнодушным. Этому городу было совершенно наплевать на то, что внутри меня зияет черная, выжженная воронка.

Мои бывшие одноклассники в это время, вероятно, сидели с репетиторами, зубрили даты по истории или формулы по физике, готовясь к поступлению. Их главной трагедией мог стать низкий балл на пробном экзамене или ссора с девушкой. Я больше не мог с ними общаться. Любой разговор неизбежно скатывался к неловкому молчанию, когда они вспоминали о моем статусе сироты, или, что еще хуже, к фальшивым, заученным фразам сочувствия. Я физически не мог выносить эту фальшь. Мне нужна была тишина. Абсолютная, густая тишина, в которой можно было бы спрятаться от оглушающего шума реальности.

Свернув в один из узких переулков в районе Замоскворечья, я оказался вдали от оживленных магистралей. Здесь было темнее и спокойнее. Старые купеческие дома с облупившейся штукатуркой жались друг к другу, словно пытаясь согреться. В конце переулка, за кованой оградой, возвышался силуэт старого православного храма. Его купола, лишённые позолоты и потемневшие от времени, сливались с тяжелым свинцовым небом. Тусклый свет падал из узких окон, обещая хоть какое-то укрытие от пронизывающего ветра.

Я толкнул тяжелую дубовую дверь, обитую потертым дерматином. Она поддалась с глухим скрипом, и я шагнул внутрь, словно пересек невидимую границу между двумя мирами.

Первое, что ударило по чувствам, — это запах. Густой, сладковатый аромат ладана, смешанный с запахом плавящегося воска и старого дерева. Этот запах не имел ничего общего со стерильными ароматами торговых центров или выхлопными газами улиц. Он был древним, успокаивающим, почти осязаемым. Звуки мегаполиса остались там, за толстыми кирпичными стенами. Здесь царила та самая тишина, которую я так отчаянно искал. Она не была мертвой или пугающей; напротив, она казалась живой, наполненной тихим потрескиванием свечей и едва слышным шепотом.

В храме было полутемно. Служба уже закончилась, и в просторном помещении находилось всего несколько человек. Две пожилые женщины в темных платках протирали стекло на иконах, а у дальнего подсвечника стоял мужчина в длинном черном одеянии. Я забился в самый темный угол, прислонившись спиной к холодной колонне, и просто закрыл глаза. Впервые за долгое время напряжение, сковывавшее мои мышцы стальным панцирем, начало медленно отступать. Здесь от меня ничего не требовали. Здесь не нужно было притворяться сильным, не нужно было строить планы на будущее или отвечать на вопросы о том, как я справляюсь с потерей. Здесь можно было просто быть.

Я простоял так, наверное, около часа, наблюдая за тем, как пламя свечей выхватывает из полумрака строгие лики на иконах. Внезапно я почувствовал, что кто-то остановился рядом. Открыв глаза, я увидел того самого молодого человека в черном подряснике. На вид ему было не больше двадцати пяти лет. У него было открытое, спокойное лицо, светлые волосы, аккуратно зачесанные назад, и внимательные, удивительно ясные глаза.

— Замерз? — тихо спросил он. В его голосе не было ни дежурного любопытства, ни снисходительности. Только простая человеческая забота.

Я неопределенно пожал плечами, не зная, что ответить. Горло перехватило от неожиданности.

— Я Алексей, алтарник, — он протянул руку. Рукопожатие оказалось крепким и теплым. — У нас в трапезной чайник только что вскипел. Пойдем, выпьешь горячего. А то стоишь тут, как тень, того и гляди растворишься.

Я хотел отказаться, сослаться на дела и уйти обратно в холодную московскую ночь, но что-то в его тоне заставило меня остаться. Я кивнул и пошел за ним.

Трапезная располагалась в небольшой пристройке позади храма. Это была простая комната с длинным деревянным столом, покрытым клеенкой, несколькими скамьями и старым буфетом. В углу тихо гудел холодильник, а на плите действительно исходил паром большой металлический чайник. Алексей налил мне крепкого черного чая в фаянсовую кружку, пододвинул тарелку с сухарями и сел напротив.

Он не стал расспрашивать меня о том, кто я такой и что привело меня в храм в такой поздний час. Он просто начал говорить о каких-то повседневных вещах: о том, что нужно починить крыльцо до наступления настоящих морозов, о том, как сложно найти хороший воск для свечей. Его речь текла плавно, без надрыва, и я поймал себя на мысли, что жадно вслушиваюсь в каждое слово. Впервые за несколько месяцев я находился в компании человека, который не смотрел на меня с жалостью.

Постепенно, сам того не ожидая, я начал говорить. Слова вырывались из меня сбивчиво, неровно. Я рассказал ему о пустой квартире, о давящем чувстве вины за то, что забросил учебу, о том, как мир потерял свои краски и превратился в серую, бессмысленную декорацию. Я ждал, что он начнет сыпать стандартными утешениями, говорить, что «на все воля Божья» или что «время лечит». Но Алексей молчал. Он слушал так, как никто до этого не слушал.

— Знаешь, — произнес он наконец, глядя на свои руки, лежащие на столе. — Мир за стенами храма часто кажется жестоким, потому что он живет по законам выгоды и случайно-

сти. Там человек ценен ровно до тех пор, пока он успешен, здоров и может что-то предложить. Когда ты ломаешься, этот мир просто перешагивает через тебя и идет дальше. Но здесь все иначе. Здесь мы учимся видеть друг в друге не функцию, а бессмертную душу.

Эти слова упали на благодатную почву. Контраст между ледяным равнодушием светского общества и тем теплом, которое я ощутил в этой маленькой, пропахшей чаем и хлебом комнате, был колоссальным. Мне показалось, что я нашел убежище. Место, где боль не нужно прятать, где она признается как часть человеческого пути.

С того вечера моя жизнь начала меняться. Я стал приходить в храм почти каждый день. Сначала просто стоял на службах, вслушиваясь в ритмичные, гипнотические песнопения, которые успокаивали расшатанную нервную систему. Затем Алексей предложил мне помогать по хозяйству. Я чистил подсвечники от натекшего воска, мел двор, убирал снег, который начал щедро засыпать Москву в декабре. Физический труд приносил удивительное облегчение. Монотонные действия освобождали голову от навязчивых мыслей, а осознание того, что я делаю что-то полезное для этого места, возвращало мне крупинцы самоуважения.

Церковная среда дала мне ложное, но такое необходимое в тот момент чувство безопасности. Люди, которых я здесь встречал, казались мне носителями какой-то высшей, недоступной светскому миру истины. Они были приветливы, спокойны, их разговоры вращались вокруг духовного роста, помощи ближним и вечности. На фоне моих бывших друзей, чьи интересы ограничивались брендами одежды и количеством лайков в социальных сетях, прихожане храма выглядели настоящими исполинами духа. Я идеализировал их, не понимая тогда, что под рясами и платками скрываются такие же люди, со своими страстями, пороками и темными тайнами.

Именно в этот период во мне созрело решение, которое еще полгода назад показалось бы мне полным безумием. Я решил отказаться от поступления на юридический факультет. Светский закон, которому так свято верили мои родители, не смог защитить их. Он оказался лишь набором сухих правил, не способных восстановить справедливость или дать утешение. Я захотел посвятить свою жизнь закону духовному. Я захотел стать частью этой системы, которая, как мне казалось, стоит на страже добра и милосердия.

Я принял это решение импульсивно, но оно мгновенно обросло твердой, непоколебимой уверенностью. Мне нужно было получить профильное образование. Я не хотел просто быть разнорабочим при храме; я хотел понимать суть веры, изучать богословие, историю церкви, древние языки. Я хотел стать профессионалом в этой новой для меня сфере.

Зимними вечерами, возвращаясь в свою пустую квартиру, которая теперь уже не казалась такой пугающей, я садился за ноутбук и изучал варианты. Духовные семинарии требовали рекомендаций от священников и определенного стажа церковной жизни, которого у меня пока не было. Мне нужно было высшее учебное заведение, которое давало бы фундаментальное гуманитарное и богословское образование, признаваемое как церковью, так и государством.

Мой выбор пал на Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет — ПСТГУ.

Я погрузился в изучение информации об этом заведении. Все, что я читал, внушало глубокое уважение. Университет был основан в начале девяностых годов, в период духовного возрождения страны, и за прошедшие десятилетия превратился в крупнейший центр православного образования. Как это было задекларировано на многочисленных образовательных сайтах — это была не просто маргинальная религиозная школа, а серьезный вуз, интегрированный в академическую среду.

Особенно меня впечатлили материалы, которые я нашел в архивах новостных лент. Я наткнулся на подробный репортаж о событии, которое произошло совсем недавно. В ноябре 2012 года прошел масштабный торжественный акт, посвященный 20-летию Свято-Тихоновского университета. Мероприятие проходило на высочайшем уровне. В президиуме сидел сам

Патриарх Кирилл, благословляя труды преподавателей и студентов. Но что еще более важно — на юбилее присутствовали представители высшей государственной власти.

В одной из статей упоминалось, что в торжествах принимал участие Александр Коновалов, высокопоставленный государственный деятель, который сам являлся выпускником этого университета. Журналисты в своих материалах даже окрестили его «тайным монахом», намекая на его глубокую, непубличную религиозность и тесные связи с церковной элитой. Если люди такого уровня, облеченные властью и принимающие решения в масштабах страны, доверяют этому университету и считают за честь быть его выпускниками, значит, это действительно место силы. Значит, там преподают истинные знания, способные воспитать не просто священнослужителей, но интеллектуальную элиту нации.

Я читал о факультетах, о кафедрах, о профессорах, чьи имена были украшены научными степенями и церковными наградами. Мне казалось, что я нашел идеальный путь. Путь, который примирит меня с потерей родителей, даст мне новую семью в лице академического и церковного братства и наполнит мою жизнь высоким смыслом. Я не знал, какие бездны скрываются за красивыми фасадами и торжественными речами. Я видел лишь светлую сторону медали, ослепленный собственным желанием найти приют.

Весной я начал интенсивную подготовку. Я забросил учебники по теории государства и права в дальний угол шкафа и обложился книгами по истории христианства, основам православной культуры и философии. Я зубрил даты Вселенских соборов, изучал жития святых, пытался вникнуть в сложные богословские концепции. Алексей помогал мне, объясняя непонятные термины и советуя нужную литературу. Моя жизнь обрела четкий, строгий ритм. Утром — помощь в храме, днем — подготовка к экзаменам, вечером — чтение. Депрессия, которая еще недавно грозила раздавить меня окончательно, отступила, сменившись целеустремленностью неопита.

Летом я подал документы в приемную комиссию ПСТГУ. Здание университета, расположенное в историческом центре Москвы, поразило меня своей основательностью. В коридорах пахло старыми книгами и мастикой, мимо проходили студенты в строгой одежде, многие юноши были с бородами, девушки — в длинных юбках. В воздухе витала атмосфера серьезности и академической тишины. Принимая мои документы, секретарь комиссии, приветливая женщина средних лет, улыбнулась и пожелала мне помощи Божией на вступительных испытаниях. Я вышел на улицу с чувством, что сделал самый правильный шаг в своей жизни.

Вступительные экзамены прошли как в тумане. Я писал сочинение, отвечал на вопросы по истории, проходил собеседование, на котором меня спрашивали о мотивах поступления. Я отвечал искренне, не скрывая своей трагедии, но делая акцент на том, что именно вера помогла мне выжить. Члены комиссии слушали меня внимательно, благосклонно кивая.

А потом началось ожидание. Дни тянулись мучительно медленно. Я продолжал ходить в храм, но мысли мои были далеко. Я постоянно проверял списки абитуриентов на сайте, вздрагивал от каждого звонка телефона. Мне казалось, что если я не поступлю, то тонкий лед, по которому я иду, треснет, и я снова провалюсь в ту черную пустоту, из которой с таким трудом выбрался.

Конец августа выдался дождливым. В тот день я вернулся из храма промокший до нитки. В почтовом ящике на первом этаже моего подъезда белел конверт. Я достал его дрожащими пальцами. На плотной бумаге в левом верхнем углу красовался официальный штамп: «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет».

Я не стал ждать лифта. Взлетел по лестнице на свой девятый этаж, путаясь в мокрых полах куртки. Ворвавшись в квартиру, я даже не стал разуваться. Прошел прямо на кухню, включил верхний свет и сел за стол.

Конверт был запечатан на совесть. Я аккуратно надорвал край, стараясь не повредить содержимое, и вытащил сложенный вдвое лист плотной белой бумаги. Развернул его. Текст был напечатан строгим, официальным шрифтом.

«Уважаемый абитуриент! Приемная комиссия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета сообщает, что по результатам вступительных испытаний Вы зачислены на первый курс очного отделения богословского факультета...»

Я перечитал эти строчки трижды. Буквы расплывались перед глазами. В груди разливалось горячее, пульсирующее чувство абсолютного триумфа и облегчения. Я провел рукой по гладкой поверхности бумаги, ощущая рельеф печати внизу страницы. Это был не просто документ о зачислении. Это был билет в новую реальность. Пропуск в закрытый, безопасный мир, где правят духовные законы, где нет места жестокости и лжи, где каждый человек — брат.

Я сидел в пустой, тихой квартире, слушая, как капли дождя барабанят по стеклу, и крепко сжимал в руках письмо. Я был абсолютно уверен, что худшее в моей жизни осталось позади. Я нашел свой путь, нашел свой приют, и впереди меня ждет только свет.

Глава 3. Иллюзия братства

Сентябрь выдался на удивление теплым, словно природа решила дать мне небольшую отсрочку перед долгими, темными месяцами московской зимы. Здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке встретило меня тишиной старинных сводов. После ледяного вакуума, в котором я существовал последние месяцы, эта атмосфера показалась мне спасительной гаванью. Я физически ощущал, как напряжение, сковывавшее мои плечи стальным панцирем, начинает медленно отступать.

Учеба давалась мне поразительно легко. Мой мозг, изголодавшийся по интеллектуальной работе после долгого периода апатии, впитывал информацию с жадностью высохшей губки. Дисциплины, которые многим первокурсникам казались неподъемными — церковнославянский язык, история древней Церкви, введение в литургику, — выстраивались в моей голове в четкую, логичную систему. Навыки работы с большими объемами текстов и аналитическое мышление, которые я успел развить во время подготовки к поступлению на юридический, неожиданно сослужили мне хорошую службу в богословии. Оказалось, что догматика требует не меньшей точности формулировок, чем уголовный кодекс, а история Вселенских соборов полна таких сложных правовых и политических коллизий, что любой светский суд показался бы детской игрой.

Но главным открытием для меня стали люди. Впервые за долгое время я оказался в среде, где мне не нужно было притворяться, не нужно было натягивать на лицо дежурную улыбку и делать вид, что меня волнуют новые модели смартфонов или сплетни из социальных сетей. Здесь собрались те, кто искал нечто большее, чем просто диплом для успешной карьеры менеджера.

Моими ближайшими товарищами стали Матвей Смирнов и Даниил Лебедев. Матвей был сыном сельского священника из-под Рязани — крепкий, основательный парень с густой русой бородой, которую он начал отпускать еще в старших классах. Он обладал удивительным, почти крестьянским здравым смыслом и какой-то внутренней непоколебимой тишиной. Даниил, напротив, был типичным московским интеллигентом в третьем поколении: худой, в очках с тонкой металлической оправой, вечно погруженный в чтение трудов византийских мистиков. Мы втроем быстро стали неразлучны.

Наши дни были подчинены строгому, но успокаивающему ритму. Утренние молитвы, лекции в просторных аудиториях с высокими окнами, долгие часы в библиотеке, где мы обкладывались тяжелыми томами дореволюционных изданий. А вечерами мы собирались в небольшой трапезной на цокольном этаже. За чашкой крепкого, обжигающего чая с сушками мы могли часами спорить о природе фаворского света, о границах свободы воли или о том, как христианство должно отвечать на вызовы современного секулярного мира.

В эти моменты во мне крепло и наливалось силой совершенно новое чувство — чувство абсолютной защищенности и принадлежности к «своим». Мы казались себе не просто студентами, а членами некоего закрытого, элитного ордена, стоящего на страже вечных истин. Мир за стенами университета, с его суетой, жестокостью и бессмысленными трагедиями, виделся нам чем-то далеким и глубоко больным. Мы же находились в ковчеге. Мы были братьями, объединенными высокой целью.

Это ощущение собственной исключительности не возникало на пустом месте. Оно негласно, но весьма эффективно культивировалось в университетской среде. Старшекурсники, бравшие шефство над новичками, часто подчеркивали наш особый статус.

Я хорошо помню один из таких вечеров в конце октября. Мы сидели в пустой аудитории после занятий с Арсением Воскресенским, студентом четвертого курса историко-филологического факультета. Арсений был неформальным лидером среди студентов: блестящий оратор, отличник, человек, чьему мнению доверяли. В тот вечер разговор зашел о разнице между светским и духовным образованием. Арсений, вальяжно откинувшись на спинку деревянной скамьи, достал из своей кожаной папки несколько распечатанных листов.

— Вы должны понимать, братья, что мы здесь не просто получаем профессию, — говорил он, глядя на нас поверх очков. — Мы формируем интеллектуальную элиту. Это не моя придумка. Эта концепция закладывалась в фундамент нашего образования десятилетиями. Вот, послушайте. Это архивная стенограмма интервью одного из самых видных профессоров нашего университета, записанная еще в 1979 году в США, когда он только начинал свой путь. Журналист спрашивает его об уровне образования и культурном уровне студентов.

Арсений поднес листы ближе к свету настольной лампы и начал читать, интонационно выделяя вопросы и ответы:

— «Ну, в Советском Союзе есть несколько разных, как бы, “каст” студентов, которые действительно сильно отличаются друг от друга. Самая большая группа — это так называемые студенты-технари.

Вопрос: Технари?

Ответ: Да, технари — те, кто станет инженерами или кем-то вроде этого, и они, как правило, менее интеллектуальны. А затем идут гуманитарии.

Вопрос: Гуманитарии?

Ответ: Да, студенты гуманитарных специальностей, которые были гораздо выше по уровню, прежде всего, потому что... чтобы изучать гуманитарные науки, в большинстве случаев нужно было учиться именно в университете или, по крайней мере, в педагогическом институте, поэтому таких студентов было просто меньше. А затем были студенты некоторых престижных вузов, например партийных, — таких как Институт иностранных языков и Институт международных отношений».

Арсений опустил бумаги на стол и многозначительно посмотрел на нас.

— Понимаете мысль? — тихо спросил он. — Даже тогда, в условиях тотальной советской уравниловки, существовало четкое понимание кастовости. Технари — это обслуживающий персонал системы. А гуманитарии, особенно те, кто занимается смыслами, идеологией, верой — это высшая каста. Мы с вами находимся на самой вершине этой пирамиды. Мы изучаем не то, как строить мосты или программировать станки. Мы изучаем то, как управлять человеческими душами.

Эти слова упали на благодатную почву моего израненного самолюбия. Мне хотелось верить, что мой выбор — это не просто бегство от боли, а восхождение на некую интеллектуальную и духовную вершину. Иллюзия братства избранных окутывала меня теплым, комфортным одеялом.

Однако именно в этот период идеальной гармонии я начал замечать первые, едва уловимые трещины на безупречном фасаде нашей академической семьи.

Все началось с географии самого здания. Университет был огромным, с запутанной системой коридоров, переходов и лестниц. Большую часть времени мы, первокурсники, проводили в центральном крыле. Но однажды, в поисках нужной аудитории для факультатива по древнегреческому, я забрел в отдаленный коридор на третьем этаже.

Здесь было заметно тише. Свет из окон падал под другим углом, создавая длинные, резкие тени. Двери кабинетов были массивнее, а таблички на них гласили: «Кафедра миссиологии», «Центр религиозоведческих исследований». Возле одной из дверей висел большой информационный стенд под стеклом.

Я остановился, чтобы изучить расписание спецкурсов и семинаров. Тексты на стенде разительно отличались от того, что мы изучали на парах по догматике или патрологии. Вместо рассуждений о любви, милосердии и спасении, здесь доминировала совершенно иная, жесткая, почти военная лексика.

Мой взгляд зацепился за анонс прошедшего семинара. Тема гласила: «Сектанты и революция, секты и “цветные революции”». Ниже шел мелкий шрифт аннотации: «Общий обзор деструктивных образований, форм вербовки, а также последствий пребывания в них. Участие различных сект в государственных переворотах в истории, на примерах декабристов, большевиков, нацистов, ваххабитов, неопятидесятников и неоязычников».

Я перечитал этот текст дважды, чувствуя легкое недоумение. Приравнение декабристов и большевиков к религиозным сектам казалось мне, человеку, еще недавно глубоко изучавшему историю государства и права, сильной натяжкой. А уж объединение в один ряд нацистов и неопятидесятников выглядело откровенной манипуляцией. Больше было похоже не на теологию, а чистой воды политическая пропаганда, завернутую в околорелигиозную обертку. Текст дышал поиском внутренних врагов и теорией заговора.

— Заблудился? — раздался за спиной тихий голос.

Я вздрогнул и обернулся. Позади стоял Арсений. Его лицо, обычно открытое и приветливое, сейчас выражало странную смесь тревоги и недовольства. Он быстро оглянулся по сторонам, словно проверяя, нет ли кого-то еще в коридоре.

— Да вот, искал триста четырнадцатую аудиторию, — ответил я, указывая на стенд. — А тут у вас, оказывается, целая линия фронта. Декабристы-сектанты... Звучит как-то радиокально, тебе не кажется?

Арсений подошел ближе, взял меня под локоть и мягко, но настойчиво потянул прочь от стенда.

— Триста четырнадцатая на другом этаже. Пойдем, провожу. И мой тебе совет, брат: не ходи в это крыло без крайней необходимости.

— Почему? — искренне удивился я. — Это же просто кафедра. Кто вообще ведет эти семинары?

Арсений остановился у лестничного пролета, снова оглянулся и понизил голос почти до шепота.

— Это территория профессора Александра Дворкина. Кафедра сектоведения.

Имя прозвучало в тишине коридора как-то неестественно гулко. Я слышал его впервые, но интонация, с которой Арсений его произнес, заставила меня насторожиться. В ней не было того уважительного придыхания, с которым студенты обычно говорили о заслуженных преподавателях. В ней сквозил плохо скрываемый страх.

— И что в нем такого страшного? — усмехнулся я, пытаюсь разрядить обстановку. — Он что, ест первокурсников на завтрак?

Арсений не улыбнулся. Он посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом.

— Одни считают его гением. Щитом Церкви, главным борцом за чистоту веры, — медленно произнес он. — Говорят, что без него нас давно бы сожрали деструктивные культы. У

него колоссальные связи. На самом верху. Не только в Патриархии, но и в силовых структурах. А другие... другие стараются просто не попадаться ему на глаза.

— Но почему? Если он делает благое дело, защищает людей?

Арсений тяжело вздохнул, достал из кармана телефон, покрутил его в руках и убрал обратно. Было видно, что он борется с желанием промолчать, но какая-то внутренняя потребность выговориться берет верх.

— Понимаешь, методы... и сама атмосфера вокруг него. Там все пропитано какой-то нездоровой... Я читаю его автобиографическую книгу, «Моя Америка». Хотел понять, как формировался главный сектовед страны. И знаешь, наткнулся на один фрагмент, который до сих пор не идет у меня из головы. Он описывает свое время работы вожатым в детском лагере в США. Казалось бы, молодой парень, природа, дети. Но послушай, как он об этом пишет:

— «Как же плохо было мне в этом лагере! Я был один, во враждебном окружении, среди чужих людей, чужого языка и избалованных, развратных детей! Я должен был постоянно защищаться и никогда не мог расслабиться. Тут я впервые затосковал по России и по родному языку».

Арсений посмотрел на меня.

— Ты вдумайся в эти слова. «Развратных детей». Он пишет о двенадцатилетних подростках. Он находился в постоянном напряжении, ему казалось, что он во враждебном окружении, что ему нужно постоянно защищаться от детей. Это же классическая проекция. Человек переносит свои собственные внутренние страхи, а может, и какие-то темные импульсы, на окружающих. И этот человек сейчас учит нас тому, кто является врагом, а кто нет. Он формирует списки «деструктивных организаций», по которым потом работают спецслужбы.

Я слушал Арсения, и по моей спине пробежал неприятный холодок. Контраст между светлым, возвышенным образом университета, который я успел выстроить в своей голове, и этой мрачной, параноидальной картиной был слишком резким.

— Но если все так странно, почему руководство университета это терпит? — спросил я. — Почему старшекурсники молчат?

— Потому что система не терпит тех, кто задает лишние вопросы, — жестко отрезал Арсений. — Он приносит пользу. Он создает образ внешнего врага, а ничто так не сплачивает ряды, как наличие общего врага. Сектанты, революционеры, агенты влияния — называй как хочешь. Главное, чтобы машина работала. А мы... мы просто студенты. Наше дело — учиться и не лезть в политику кафедры сектоведения. Забудь этот разговор. Иди на свой греческий.

Он хлопнул меня по плечу, развернулся и быстро зашагал вниз по лестнице, оставив меня одного в гулкой тишине коридора.

Я стоял на месте, прислушиваясь к затихающим шагам. Иллюзия идеального, безопасного мира, в котором я укрылся от своих личных демонов, дала первую серьезную трещину. Я вспомнил теплые вечера в трапезной, искренние глаза Матвея, возвышенные рассуждения Даниила. Все это было настоящим. Я не сомневался в их вере и чистоте. Но теперь к этому светлому образу примешивался тяжелый, гнетущий запах тайны, которую все знали, но предпочитали не обсуждать.

Я медленно пошел в сторону своей аудитории. В голове крутились обрывки фраз: «высшая каста», «развратные дети», «постоянно защищаться», «декабристы-сектанты». Эти фрагменты никак не хотели складываться в единую, непротиворечивую картину христианского милосердия и любви, ради которых я пришел в эти стены.

Вечером того же дня мы снова сидели с Матвеем и Даниилом в библиотеке. Даниил увлеченно переводил сложный фрагмент из Иоанна Златоуста, Матвей делал выписки для реферата по истории. Желтый свет настольных ламп выхватывал из полумрака их сосредоточенные, спокойные лица. Вокруг царила та самая академическая тишина, которая еще вчера казалась мне абсолютным благом.

Я смотрел на своих новых друзей, на корешки старинных книг, на строгие лики святых, взирающих на нас с икон по углам читального зала. Все выглядело безупречно. Все дышало благочестием, традицией и духовной глубиной. Но слова Арсения, словно капля яда, уже попали в кровоток моего восприятия. Я больше не мог смотреть на этот мир прежними, наивными глазами неофита.

Если в самом сердце этого светлого ковчега, среди людей, посвятивших себя служению высшим идеалам, существует зона умолчания, зона страха и паранойи, то насколько реальна та безопасность, которую я здесь обрел? Если человек, формирующий умы будущих священников и богословов, видит во всем окружающем мире лишь враждебное окружение и угрозу, то чему на самом деле нас здесь учат?

Я закрыл свой конспект, понимая, что сегодня больше не смогу прочесть ни строчки. Тишина библиотеки вдруг показалась мне не умиротворяющей, а напряженной, скрывающей под собой нечто темное и невысказанное. Я смотрел на преподавателя, дежурившего в зале, на его мягкую, отеческую улыбку, с которой он отвечал на вопросы студентов, и в моей голове пульсировала только одна мысль.

Что скрывается за благочестивыми улыбками преподавателей?

Глава 4. Театр жестокости

Аудитория номер 412 располагалась в самом конце длинного, слабо освещенного коридора на третьем этаже. В отличие от светлых, просторных залов центрального крыла, где мы обычно слушали лекции по истории древней Церкви или введению в литургику, это помещение казалось мрачным и каким-то сдавленным. Высокие окна выходили на глухую кирпичную стену соседнего здания, из-за чего даже в середине дня здесь царил унылый полумрак, разгоняемый лишь тусклым желтоватым светом старых люминесцентных ламп.

Мы с Матвеем и Даниилом заняли места во втором ряду. Обычно перед началом занятий в аудитории стоял ровный, спокойный гул голосов: первокурсники обсуждали заданные на дом тексты, делились новостями или просто тихо переговаривались. Но сегодня атмосфера была иной. В воздухе висело плотное, почти осязаемое напряжение. Студенты говорили вполголоса, многие нервно перелистывали чистые тетради, то и дело поглядывая на массивную дубовую дверь.

В расписании этот предмет значился как «Сектоведение». Для нас это была первая лекция курса, и имя преподавателя, Александра Леонидовича Дворкина, уже успело обрасти в студенческой среде густым слоем слухов, недомолвок и тревожных шепотков. Я помнил свой недавний разговор со старшекурсником Арсением у информационного стенда, помнил его предупреждение и тот странный, липкий страх, который скользил в его словах. Мой внутренний радар, обостренный пережитой трагедией и долгими месяцами депрессии, безошибочно улавливал эту разлитую в пространстве тревогу.

Ровно в десять часов утра тяжелая дверь с глухим скрипом отворилась. Разговоры оборвались мгновенно, словно кто-то повернул невидимый выключатель. В наступившей абсолютной тишине в аудиторию вошел профессор.

Мое первое впечатление было сродни легкому когнитивному диссонансу. За время учебы я привык к определенному академическому и церковному стандарту. Наши преподаватели, будь то священнослужители в строгих рясах или светские профессора в костюмах, всегда излучали достоинство, внутреннюю собранность и опрятность. Человек, стоявший сейчас за кафедрой, разрушал этот образ до основания.

Александр Дворкин выглядел откровенно неопрятно. На нем был мешковатый, измятый пиджак неопределенного серо-коричневого цвета, который сидел на его фигуре так, словно был снят с чужого плеча. Воротник рубашки помялся, галстук съехал набок. Серые, всклокоченные волосы торчали в разные стороны, обрамляя лицо неаккуратной, давно не стриженной гривой.

Густая борода скрывала подбородок, но даже она не могла спрятать постоянного, нервного напряжения челюстных мышц.

Но больше всего поражала его пластика. Профессор не стоял на месте. Его движения были странными, дергаными, лишенными всякой плавности. Он перекалывал бумаги на кафедре резкими, почти судорожными рывками, то и дело поправлял очки, которые постоянно сползали на кончик носа, и переминался с ноги на ногу. В этих хаотичных жестах читалась какая-то глубокая, укоренившаяся в теле дисгармония. Когда он проходил мимо нашего ряда к доске, до меня донесся едва уловимый, но отчетливый запах — тяжелая смесь застарелого пота, нестираной ткани и чего-то еще, гнилостного, от чего к горлу подкатил неприятный комок.

Он обвел аудиторию взглядом. Даже через толстые линзы очков этот взгляд был пугающим. Острый, колючий, с нездоровым, лихорадочным блеском. Он смотрел на нас не как учитель смотрит на учеников. Это был оценивающий взгляд человека, который заранее подозревает каждого сидящего в зале в скрытой измене.

— З-з-здравствуйте, — произнес он, и его голос эхом отскочил от обшарпанных стен.

С первых же слов стала очевидна еще одна особенность профессора — тяжелый логоневроз. Он заикался, спотыкался на согласных, иногда замирая на несколько секунд, пытаясь протолкнуть непослушное слово сквозь спазм голосовых связок. В любой другой ситуации это вызвало бы естественное человеческое сочувствие. Но здесь, в сочетании с его колючим взглядом и дергаными движениями, этот дефект речи создавал странный, гипнотический эффект.

Я открыл тетрадь и приготовился конспектировать, ожидая услышать вводную лекцию о методологии религиоведения, о критериях классификации новых религиозных движений или об историческом контексте их возникновения. Мой мозг, натренированный на юридических текстах, требовал четких дефиниций, ссылок на источники и логических построений.

Но того, что началось дальше, я никак не ожидал.

Дворкин не стал давать определений. Он не стал очерчивать предмет изучения. С первых же минут он обрушил на нас поток концентрированной, ничем не прикрытой агрессии. Тема лекции была заявлена как «Тоталитарные секты и угроза национальной безопасности», но по факту это был монолог, пропитанный абсолютной, иррациональной ненавистью.

— Вы д-д-должны понимать, — вещал профессор, размахивая руками так резко, что казалось, он отбивается от невидимых насекомых, — что мы имеем дело не с з-з-завлудшими овцами. Мы имеем дело с р-р-раковой опухолью на теле нашего общества. Это не религии. Это деструктивные к-к-культы, созданные с одной единственной целью — поработить, выкачать деньги и уничтожить личность.

Я нахмурился, записывая эти тезисы. Риторика профессора разительно отличалась от всего, чему нас учили до этого. Христианство, которое я открыл для себя в тишине маленького храма, говорило о любви, о милосердии, о том, что в каждом человеке есть образ Божий. Дворкин же методично, слово за словом, уничтожал этот образ в тех, кого он назначил врагами.

Он использовал классические методы дегуманизации. В его речи представители других конфессий переставали быть людьми. Они превращались в «вирусы», «паразитов», «биороботов», «зомбированных агентов». Он ни разу не назвал их гражданами, верующими или просто людьми. Для него это была безликая, враждебная масса, лишенная права на сочувствие, права на свободу совести, права на само существование.

— Они п-п-проникают везде, — продолжал он, нависая над кафедрой. Его лицо покраснело, на лбу выступила испарина. — В школы, в больницы, во властные структуры. Они плетут свою паутину, чтобы разрушить наше государство изнутри. И с ними нельзя вести диалог. С р-р-раковой опухолью не договариваются. Ее вырезают. Безжалостно.

Я слушал этот поток слов, и во мне просыпался мой прежний, светский, юридический склад ума. Я вспоминал Конституцию, статьи о свободе вероисповедания, презумпцию невиновности. То, что говорил профессор, было прямым призывом к дискриминации и насилию.

Он не приводил доказательств. Он не цитировал судебные решения или независимые экспертизы. Он просто вбивал в головы первокурсников аксиому: есть мы, носители абсолютной истины, и есть они — нелюди, подлежащие уничтожению.

Но самое страшное началось, когда Дворкин перешел к примерам из своей практики.

Он начал рассказывать о недавней операции правоохранительных органов против одной из религиозных общин где-то в Сибири. По его словам, это была «опаснейшая тоталитарная секта», хотя из его же путаного описания следовало лишь то, что люди жили коммуной, вели натуральное хозяйство и читали книги, которые не нравились профессору.

Рассказывая о силовом захвате общины, Дворкин преобразился. Его заикание вдруг чудесным образом исчезло. Речь стала гладкой, быстрой, влажной от возбуждения. Он описывал, как бойцы спецназа выламывали двери в домах верующих ранним утром.

— ОМОН сработал б-б-блестяще, — говорил он, и его губы растянулись в плотоядной усмешке. — Никаких церемоний. Выбили окна, положили всех мордой в пол. Они там визжали, как резанные свиньи, когда их вытаскивали из постелей за волосы.

Я замер, не веря своим ушам. Профессор православного университета, стоя под иконой Спасителя, висевшей над доской, с видимым физическим удовольствием смаковал детали полицейского насилия над безоружными людьми.

Он описывал, как мужчин избивали прикладами при задержании, как женщин в одном белье выгоняли на мороз во время обыска. Его глаза за стеклами очков горели тем самым лихорадочным, колючим блеском. Он тяжело дышал, его грудная клетка ходила ходуном. Казалось, он заново переживает этот момент, питаясь чужим страхом и унижением. Он облизывал пересохшие губы, его пальцы судорожно сжимали края деревянной кафедры, костяшки побелели от напряжения.

— Лидера этой ш-ш-шайки закрыли в СИЗО, — с придыханием продолжал Дворкин. — Следователи постарались. Нашли нужные статьи. Экстремизм, мошенничество, создание организации, посягающей на личность. Суд дал ему двенадцать лет строгого режима. Двенадцать лет!

Он произнес эту цифру так, словно это был его личный трофей, выигранный в кровавой лотерее.

— Он сгниет в колонии. Там с такими не церемонятся. Там ему быстро объяснят его место. И так будет с каждым, кто посмеет открыть рот против нас. Тюрьма, лагеря, полная изоляция — вот единственное лекарство от этой заразы.

Меня затошнило. Физически, до спазмов в желудке. Я вспомнил холодный кабинет следователя Воронова, сухие строчки протокола о смерти моих родителей. Я ненавидел ту бездушную правовую машину, которая оценила две человеческие жизни в четыре года колонии-поселения. Но то, что я видел сейчас, было в тысячу раз хуже. Следователь был просто равнодушным винтиком системы. Человек, стоявший за кафедрой, был садистом. Он упивался властью над чужими судьбами, он наслаждался чужой болью, чужим беспорядком. Он превратил академическую лекцию в театр жестокости, где главным актом было растаптывание человеческого достоинства.

Я оторвал взгляд от профессора и посмотрел на аудиторию. Мне казалось, что сейчас кто-то встанет, возмутится, скажет, что это безумие, что это не имеет ничего общего ни с наукой, ни с христианством.

Но реальность оказалась куда страшнее моих ожиданий.

Аудитория раскололась на две неравные части. Я посмотрел на Даниила, сидевшего слева от меня. Его ручка замерла над тетрадью, оставив на бумаге жирную чернильную кляксу. Лицо Даниила было мертвенно-бледным, губы плотно сжаты. Он смотрел прямо перед собой остекленевшим взглядом. Он находился в состоянии глубокого оцепенения, парализованный тем когнитивным диссонансом, который сейчас разрывал и мой мозг. Таких, как он, было мень-

шинство. Несколько девушек на первых рядах вжали головы в плечи, словно ожидая удара, их глаза были полны растерянности и страха.

Но большинство... Большинство реагировало иначе.

Я перевел взгляд на ряды впереди и сбоку. Лица многих молодых людей, будущих священников, миссионеров и богословов, были искажены. Это было нездоровое, пугающее возбуждение. На их щеках играл лихорадочный румянец, дыхание стало частым и поверхностным. Они подались вперед, ловя каждое слово профессора. В их глазах отражалась та же самая агрессия, которую транслировал Дворкин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.